

Воскресная Москва. — 2001. — 25 июля. — с. 104

ПЕРСОНА **НОМЕРА**

**ЛЮБОВЬ
ПОЛИЩУК**

РАЗГОВОР



БЕЗ КУПЮР

Роскошная квартира в тихом переулке. Триумф дизайнерской мысли. Живопись и графика старых и новых мастеров. Подлинники. Русская борзая с лицом еврейского профессора спесиво вздергивает брови, лежа на диване в огромной гостиной. Сухие цветы. Свежие овощи. Много вина. Дом наших друзей. Он прекрасен.

Входит дочь, Маша Цигаль, не та Маша Цигаль, типа кутюрье, дочь скульптора Алика, а дочь графика Сергея (их, Цигалей, много, ветвистый клан по Москве). И так, Маша-маленькая, девчонка ростом под притолоку, с размером ноги 42, поступившая сразу в два театральных вуза. Скрывает, как позорную семейную тайну, что мама — Любовь Полищук. В анкете абитуриента пишет: «Отец — Сергей Цигаль, художник. Мать — артистка». Чтобы относились по-честному, без этих вот. Непрерывно ворчит.

Читайте на 4-й странице

ПЕРЕКРЕСТОК: «Прошу эти слова занести в протокол»

РАЗГОВОР БЕЗ КУПЮР

Наш обозреватель Алла Боссарт побывала в гостях у своих звездных друзей

Окончание.
Начало на 1-й странице

— А вот расскажи-ка, Люба, кстати, как ты-то в институт поступала?

— Да я с 67 года была уже артистка. В Омске меня развернули из студии эстрадного искусства имени Маслюкова, отправили доучиваться в 11-й класс. Ну, конечно, с большими препятствиями я туда поступала, у меня пропал голос, из вокалестки я стала артисткой разговорного жанра. И работала в программе «Омичи на эстраде». В Омске.

Сергей: Но с этой программой она приехала в Москву. И ее взяли в Московский Мюзик-холл.

Любовь: Чего ты пересказываешь? Я еще семь лет работала в этих «Омичах» там, дома. Замуж вышла, родила. А уж потом был Мюзик-холл, где я отрубилась еще восемь лет. Ну а потом. Потом он умер, мой муж. И я осталась с маленьким Лешкой. А гастроли 10-11 месяцев в году. Ну и пришлось уйти. А потом началась настоящая чернуха в Москонцерте. Там меня вообще истребляли, как кроликов в Австралии или где там.

С.: Да чего тебя истребляли? Ты там прима была!

Л.: Как только я приготовила программу по Жванецкому, меня тут же задушили. Мне очень хотелось сделать моноспектакль. И именно по Жванецкому. А Михаил Михальч мне сказал: зачем ты скрываешь свою красоту? Я ведь пишу для мужчин. Но написал для меня монолог проводницы «А рыцаря жду», я его читала потом много лет на эстраде. Собственно с ним я и победила на Всероссийском конкурсе артистов эстрады. Винокур с Леной Филатовым получили тогда вторую премию пополам. Но меня не выпустили даже в телевизор. Потому что это был Жванецкий. С тех пор я мечтаю о моноспектакле. Чтобы рядом не было никаких идиотов. Вообще я говорить об этом не хочу, это страшная история. Тебе я потом расскажу — и ты будешь первая, потому что я никому это не рассказывала, больно вспоминать.

— Ладно, давайте о веселом. Как вы познакомились?

С.: Я увидел Любу сначала в телевизоре. В «Эзопе», потом в «12 стульях». Потом в Театре миниатюр у Левитина — в «Хармсе».

— Это был первый твой театр?

Л.: Да, после Мюзик-холла. Я сидела без работы, когда меня подобрал Левитин. А инцидентом был Витя Ильченко, царство ему небесное. Если бы не это предложение, я вообще не знаю, кем и где бы я сейчас была.

С.: Ну, я начал ее обкладывать, как волка. Пол-Москвы включилось в это знакомство.

Л.: Он же, понимаешь, интеллигент! Он должен быть представителем! А грязь такая, между прочим, под ногтями была.

С.: Это рабочая грязь. Я тогда был ювелиром, да и краска въедается намертво.

Л.: В общем, рожа круглая, щеки красные, на голове какая-то чашоба — вот этой всей красоты с косичкой тогда еще не было.

С.: Мне сказали, что она любит цыган. У нее тогда был какой-то цыган.

Л.: И является это чувство. Брючки короткие, ботинки на высоком каблучке, и ходит как-то боком, как петух, и на сторону заваливается.

С.: Да, ботиночки я одолжил у одного друга, Любка же длинная, особенно на сцене, я боялся, что буду ниже ростом.

— Не понравился тебе?

Л.: Да разный какой-то. Я сама такая, думаю, но сойдемся. Но когда он прокатил меня на льду. На своем «жигуленке» грязном, все в шерсти от собак, грязное, ногти грязные, но пахло вкусно — усы нащипанные чем-то. И вот он заливший своей этой колымагой — фшшшш, по льду — ну, думаю, беловый, вот чего мне не хватает, я-то трусица. Понравился.

С.: Это после «Чехонте» в «Эрмитаже». Поехали в ресторан ВТО, там Люба, чтоб походить выглядела, махнула для начала три бутылочки пивка.

Л.: Маленькие бутылочки, помнишь, «Двойное золотое»?

С.: Ну! Сказочное пиво было. А потом я повез ее к моему другу художнику Семенову. В мастерскую. У нас есть два Семеновых — Серега, он называется «музыкальный», как Брейгель. А есть Леша, «Бархатный». Как пиво. Вот мы к Леше забурлили, там еще Маркевич Андрюшка, сидела, так хорошо выпивали.

Л.: И мне так все понравилось! Все! Что все 49-го года, что все «Тельцы», как я. Такие мужики прекрасные.

— Эта первая такая компания у тебя была — московская, богемная, художественная?

Л.: Я ведь за эти 13 лет мало была в Москве, все больше по гастролям. И мне никогда не было так тепло и уютно. Вот все было мое, понимаешь? Может я созрела, не знаю. Все так совпало. 13 — вообще особое число в моей жизни, которое я люблю и ненавижу. Но мне было очень хорошо, очень.

— Ты, Сережа, был старый холостяк?

С.: Ну почему, я был сравнительно молодой холостяк.

Л.: Он и сейчас холостяк.

С.: Я был в том замечательном состоянии, которое бывает между первым браком и вторым.

— Хороший армянский мальчик?

С.: И отчасти еврейский.

— И ты уже решил обязательно жениться — или так?

Л.: Да ему просто артистки нравились. А уж потом, когда я оказалась беременна, в кои-то веки. Месяца через два...

С.: Да ладно, через два!

Л.: Вот именно, я сама удивилась, вроде так мало знакомы. Короче, я сказала: хватит, уже один растет без отца. Либо ты делаешь мне предложение по всей форме. Либо я делаю тебе аборт. Что для меня было убийственно. Я чувствовала, что во мне девочка. Я ужасно хотела девочку. И этот идиот... Я ненавижу гвоздики. И он приходит ко мне с жалким венчиком этих вот гвоздик. Мама твоя мне недавно сказала, что тебе дали деньги на розы, подлюка. Вот галенш, Мирель говорит, мы ж ему с Ленкой дали на розы!

С.: Да у меня уж были тогда свои деньги!

Л.: Да-а, как же, были у него

денная, она лежала на террасе, а отец в пестрых трусах лазил по грядкам, поливал там. И кто-то постучал в калитку: «Это дача Полищук?» Отец говорит: «Да».

— А вы кто? «А я ее садовник».

— А можно на нее посмотреть? Отец говорит: «Пожалуйста». Открывает.

Л.: А я лежу, 39 в тени, морда вся в каких-то листьях, с валидолом, с корвалолом. Не узнали. А Виктор Ефимович с тех пор — садовник. Виктор Ефимович, который пишет замечательные книжки, художник потрясающий, а к старости еще и читает гениально, и смотрит. И вот однажды я пригласила его на один спектакль, плохой. Прихожу домой и на автоответчик слышу: «Любана, я прочел у Раневской потрясающую вещь: свитесь в плохом кино — все равно, что плынуть в вечность». Намек поняла.

умолкая. А у меня замыкает аппарат. Если я улыбаюсь — уже не могу свести челюсти. И вот такое несочетание, я думаю, и держит нас. А то бы мы давно разбежались.

С.: Понимаешь, она столько работает и так устает, что дома она только лежит. Я практически вижу ее исключительно в горизонтальном положении. Вот приезжаем в Коктебель — это десять стаканов семечек и какой-нибудь толстый Лесков, Чехов, Достоевский. Ложится и кончит. И мне это очень нравится. Я жду этого целый год.

— И тебе тоже кажется, что вас удерживает только вот такая разноразовость жизни?

С.: Меня на земле удерживает только игра в теннис.

— Ну ладно, я же серьезно.

С.: Это очень серьезно. Вот мне позвонят: Серега, есть корт. Я все брошу и поеду играть.

важно же, над чем смеяться вместе.

Маша: Когда вы закончите-то?

С.: Не знаю, отстань.

Л.: Чего тебе надо, чего? Что ты хочешь уже?!

Маша: Я хочу в Коктебель.

— Люба, до Сережи тебе в Москве тяжело жилось?

Л.: Очень. Я недавно Машке рассказывала, когда она чего-то морду очередной раз кривила: ты знаешь, что значит спать на полу, на одном матрасе с маленьким сыном, в трехкомнатной квартире, заполненной народным ансамблем песни и пляски? Так распорядился Мюзик-холл. А я была взрослая женщина и звезда. И у меня не было мебели, кроме матраса и ящиков из-под овощей. А Лешка был со мной с полуплутора лет. Потом я его оставила на полгода.

С.: Ты кукушка!

возле рынка карточки выпали у нее из кармана — прямо туда, в яму. А это ж война. Все карточки — все, голодная смерть. И они — что ты думаешь? Подружка держала ее за ноги, и она, по локоть в говне, их там лопила. И выдули!

Маша: О господи!

С.: Моя мама тоже, между прочим, здорово там голодала, в этом Самарканде. Папа недолго карточки-то рисовал. Их сначала эвакуировали — «Суриковку», а потом он ушел добровольцем в танковый корпус.

— Сережа, а ты ведь еще геофак кончал?

С.: Да, биогеографию. У меня два образования. Я дико умный.

— И что тебе дала твоя биогеография?

Л.: Потерял десять лет жизни.

С.: На самом деле нет. Все на пользу. Насекомых вот рисую.

Л.: Ненавижу насекомых. Ненавижу все, что связано с землей. Кладбища, подземные переходы: Самым страшным страхом моей жизни были покойники. Мои сны были переполнены покойниками, пока не умер у меня на руках папа. Но попов ненавижу до сих пор.

С.: Ну брось, Люба, есть отличные ребята. Хотя меньше, чем хотелось бы. Меня крестил замечательный дядька, бывший музыкант, мы так хорошо выпили.

Л.: А Сережа лишь бы тусовка.

Вот я с ужом вспоминаю, как меня крестили: в какой-то каст-

Любовь ПОЛИЩУК:

Опа-опа, жареные раки, приходите девки к нам, мы живем в бараке!



Сергей ЦИГАЛЬ:

Бабушка мне сказала: имей в виду, тебя будут бить дети рабочих и крестьян

денги. Пришел ко мне с этими влялыми гвоздиками и объявил: «Предлагаю тебе руку и сердце».

С.: Ленка, сестра, мне сказала: ты обязан.

Л.: Ты добавь, что я им понравился, в отличие от тебя.

— А ты привел, как положено, в дом, знакомить.

Л.: Значит, Алла, он ничего не делает, как положено. Это я, как положено, пришла сама. Он жил на Арбате, а я пошла туда в «Оптику» заказывать Алешке очки. Надо было ждать полтора часа. Я ему позвонила, он говорит, давай, заходи, мама надела котлет. А я коплету терпеть не могу. Но пошла. Захожу, вся из себя индифферентная. И вдруг вижу: квартира до потолка увешана картинками, как Третьяковка. Книжки бесконечные, портрет Мариэтты Шагинян — а я не знала, что он ее внук, вообще как-то мало про него знала и вообще не придавала значения. Честно скажу — заробела. Я ж в бараке родилась. Ведут меня в гостиную, дают коллеты. Я с испугу съела одну — и мне так понравилось! Коллеты назывались «крем». И с тех пор я коллеты делаю лучше, чем ты!!!

— Я слышала, что дом Мариэтты Шагинян в Коктебеле теперь называют дачей Полищук?

С.: Этот дом, между прочим, был построен на средства от каппустики, который устроили все самые блестящие поэты, художники, писатели того времени, что на даче у Волошина жили. Кого там только не было. И стоял этот дом заброшенный и практически ничей. И бабушка решила: Мирель заканчивает «Суриковку», надо бы ей сделать подарок. После войны пара туфель стоила пять тысяч. И дом этот стоил пять тысяч. Я жил в этом доме с 51-го года, а до того — в доме Волошина, среди всей этой братии Серебряного века. И вот, представляешь, в прошлом году я у одной старушки на Сивцевом Вражке читал письма из Коктебеля, где описан я сам, годовалый мальчик...

Л.: Написано было так: «Смерч и маленькая обезьянка, шатающаяся только по потолку».

С.: Люба, ну что ты врешь, таких слов там не было, по какому потолку! Она выдумывает.

Л.: Да нет, я не выдумываю, к сожалению. А теперь это дача Полищук!

С.: Когда Любка была бере-

— Ты часто в вечность-то плевал?

Л.: Да не однажды. Но ни о чем не жалел. Если бы мне предложили жизнь начать сначала, я бы совершала те же ошибки, только еще более грубо, еще более нелепо, мне кажется. Сережа однажды спросил: если бы все умерли — родственники, друзья, знакомые, ну все, ты бы как себя чувствовала? Помнишь это?

С.: Нет.

Л.: Ты спросил: ты бы хотела остаться жить после этого? И я не задумываясь ответила: да. Что это такое — я не понимаю. Может быть, я так люблю одиночество?

— Любишь одиночество или так любишь жизнь?

Л.: Ну вот как это можно соединить? Как можно остаться одной — и продолжать любить жить?

— А ты действительно так любишь одиночество?

Л.: Ну, мы наверное сами аккумуляем себя. В моей профессии за исключением друзей и аплодисментов — ничего не греет.

— А что еще-то должно быть?

Л.: Ну как, влюбленность.

— А муж?

Л.: Нет, я люблю Сережку, но это привычно. В этом нет энергии новизны. Я стараюсь хоть немножко влюбиться в партнера, даже если я его ненавижу. Это бесконечный ананизм, наша профессия. И поэтому чем ты старше, тем больше ты черпаешь в себе самой. У меня это — сон и одиночество. Я заряжаюсь только так. А где его взять-то, одиночество? Вот Сережа целыми днями сидит в мастерской. Один. И поэту ему наоборот надо общаться, он не пропускает тусовок, приходит домой и говорит не

— Теннис, вкусная жратва — как ты готовишь, мы знаем — пьанки-тулянки, хорошие сигары.

С.: О, как я разбираюсь в сигарах, ты не знаешь!

— Так я понимаю, что ваш общий знаменатель — жизнелюбие. Хотя и невероятно по-разному выраженные, совершенно разной энергетической насыщенности...

Кто же из вас все-таки настоящий оптимист?

Л.: Алла, вот смотри. Приходим мы в компанию. Я вот такого цвета, как эти занавески (оливково-выс — А. Б.). «Любана, как дела?» — Все прекрасно! Серо-зеленая, как сырой рак. У этого — рожа красная, румяная, усы торчком.

— Рак вареньный?

Л.: Вот именно. И все у него болят. Он умирает. А у меня все прекрасно. То есть по жизни он якобы оптимист. На самом деле — зануда страшная!

С.: Врет. Все врёт. На самом деле оптимист, конечно, я. Вообще человек, который утверждает, что теннис — главная опора его жизни, наверное, оптимист.

С.: Конечно.

Л.: Все врёт. На самом деле — разумный, мудрый. Это не его заслуга. Это кровь: евреев и армян. Я — яростная, неумная, истеричная натура. То и дело рву на себе волосы. Полное отчаяние. Тошнит от безысходности, от бездарности, от усталости. Он сидит рядом. Любана, все хорошо. Все нормально. Спектакль — говно. Но ты! А мне только этого и надо. В общем, счастливые совпадение. Ровненько не укладываемся. Но через горбы, через кривые суставы — вот так. (Выворачивает ладони, дико сглатывая пальцы.) Ну и язык, качество юмора —

Л.: Не бей по голове, я буду гадить, где попало.

С.: Прошу эти слова занести в протокол.

— Люба, а что значит «жила в бараке»? Это в буквальном смысле?

С.: Ну знаешь песню: опа-опа, жареные раки, приходите девки к нам, мы живем в бараке!

Л.: Ну буквально. Среди эзков и бластных.

— А что за семья?

Л.: Мой папа, царство ему небесное, был сперва пожарным, потом железнодорожником, потрясающе красивая форма у него была: такая, знаешь, с белым подворотничком. Потом пошел в маляры, там больше платили. А мама, поскольку трое детей, день и ночь шла. На нас стучали, машинку изымали. Папа очень рано потерял родителей, с восьми лет нанимался работником в чужие семьи. Ну, батрачил, собственно. Максим Горький, «В людях».

— У вас были совершенно разные «детские». Это влияет на вашу жизнь?

Л.: Меня раздражает, когда Сережа забывает иногда, на каком он свете, и начинает: «А помнишь, на Арбате было потрясающее суфле». Нас поднимали в четыре утра, меня в правую руку, Гальку, сестру — в левую, братика на грудь, и мы неслись по магазинам. Потому что в одном давали масло, в другом — сахар, а в третьем — муку. Мама занимала сразу несколько очередей и прельяла всех нас, чтобы наглядно: мы не одна, а четверо душ, документов было недостаточно. И так до девяти утра мы перебежали из магазина в магазин. Бедная мама! Это был город Омск, а не Москва. А у Сережи были пайки.

— Э, да тут, похоже, классовая ненависть.

Л.: Нет, меня это даже не особенно злит. Мне это не-по-нятно.

С.: Ладно, нас с нашими знаменитыми пайками (кстати, довольно мифическими) тоже кой-чему жизнь учила. Как папа мой рисовал хлебные карточки в Самарканде, в эвакуации — что ты, рававших не было!

Маша: Какие карточки?

С.: Хлебные.

Маша: А что это?

С.: Во поколение! А ты, Любана, говоришь «пайки».

Л.: Моя мама чуть не умерла, когда в общественном сериале

риоле, куда до этого наблевал младенец. А я уж взрослая была. Лет пять. Все понимала. И с тех пор ненавижу этих дармоедов.

С.: Злая ты, Люба.

Л.: А тебе все в кайф.

С.: Это точно. Мне даже армия, которую все проклинали, что-то дала.

Л.: Он там варил варенье и посылал маме в кефирных бутылках. Циник.

С.: Почему циник? Просто маму люблю.

Л.: Ой, ты помнишь, что бабушка тебе сказала, когда тебя призывали?

С.: О, Мариэтта сказала две великие вещи. Меня сначала должны были отправить в Туркмению, охранять эзков в пустыне. Кошмарный призыв. Бабушка сказала: что, Ашхабад? Только не ешь немых фруктов. А вторая гениальная фраза была: имей в виду, тебя будут бить дети рабочих и крестьян. Что оказалось совсем не так, я как раз одному пролетарию надавал по морде довольно сильно. Служил я, правда, в результате под Питером, в дивизионе ПВО, собирал малину и извлек довольно много разных впечатлений. На стайейку в журнале «Фас» накопал.

Л.: Говорю же, циник. В феске турецкие орешки рекламирует. Армянин!

— У тебя много заказов?

Л.: Заказы ему поступают только от меня. Приблизь титом полку. Я жду лет пять, а потом вот так, сикось-накось (показывает) шуру сама.

С.: Не показывай на себе. Графику трудно продать. Да и негде. А для денег я делаю интервью для богатых, росписи всякие.

Л.: Сережа чудный художник, очень стильный. И это бедня, а что актерская профессия — самая униженная и самая зависимая. Но то, в каком унижении живут они, я не подозреваю. Эти выставки, где они сидят целыми днями, и никто не подходит. И некоторые даже не смотрят. А ты зайдешь в мастерскую — там же не пройти. Сплошь работы. И какие работы!

С.: Ну Люба, это нормально. Никто с искусства не живет. И ты работаешь на потребу, нет? Ты знаешь, мне кажется, она в этой квартире реализовалась больше, чем в театре. Как Раневская.

— Мечта о хорошей, о шикарной квартире — это привнесло в барачное детство?

Л.: Мне после моего барака не на что было жить. Только ДСП и пластмасса. У меня была такая тыга к «настоящей жизни», что я выучила язык глухонемых и подружилась с глухонемой девочкой, чтобы ходить к ней через овраг. Это был телевизор! Я до сих пор знаю эту трамваю. Ко мне на Арбате подошли однажды глухонемые и попросили автограф. И я им на их языке сказала, показала: «Спасибо». Теперь они все мои. А вить гнездо — люблю, конечно. Это тоже театр. Зрителей только мало.

С.: Зато роли какие!

